

ЕВРОПА ГЛАЗАМИ СОЛДАТА

ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА «Мы диалектику учили не по Гегелю»

Тогда, далекой, неповторимой, неистовой весной сорок пятого, — ох как кружил солдатские головы радостный хмель победы! — встреча эта не состоялась. Помешал ничтожный, в полтора сантиметра, рваный осколок металла.

И все-таки — почти через четверть века! — я наконец встретила с Германией, точнее, с Западным Берлином.

Западный Берлин. Единственное место на земле, где вторая мировая до сих пор не история, а быт. «Американский сектор», «Английский сектор», «Французский сектор»: таблички с этими надписями — унижительные, унылые памятники, воздвигнутые самому себе германским милитаризмом...

Итак, место действия — Западный Берлин, Евангелическая академия — религиозно-общественная организация, пригласившая нас, советских писателей, на дискуссию «Проблемы реализма в поэзии».

Время действия — около часа ночи.

После приема, устроенного в нашу честь главой академии, приема, завершившего интересный, но утомительный день (два доклада, дискуссия, чтение стихов), я потихоньку удрала вверх, на второй этаж, в свою персональную келью — ночевали мы в здании самой академии.

Засыпаю под гул голосов. И вдруг вздрагиваю, сон проходит — снизу доносится разудалое пение:

По долинам и по взгорьям
Шла дивизия вперед...
Что за черт? Спускаюсь вниз.

Оказывается, это наша поэтесса Римма Казакова организовала художественную самодеятельность — хоровой кружок из студентов-славистов, изучающих русский язык. Поют здорово, голоса как на подбор. И не удивительно — ребята эти подвизаются в церковном хоре!

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой...

Смотрю на открытые мальчишеские лица поющих — все они родились уже после того, как отцы их вернулись из бесславного «Дранг нах остен»...

Сегодня мой доклад. Конечно, волнуясь. С чего начать? Может быть, с гейневского: мир раскололся, а трещина проходит через сердце поэта? — здесь, во «фронтном городе» строки эти звучат особенно актуально...

Добавляются сложности совершенно неожиданного характера. Например, в немецком языке нет слова «гражданственность». А между тем понятие, обозначаемое этим словом, — краеугольный камень моего доклада, озаглавленного «Поэзия и общество».

Почему Евангелическая академия пригласила на дискуссию советских поэтов?

Вот что писала в письме, адресованном всем приглашенным участвовать в диспуте, энергичная наша хозяйка, член академии Ева Крамм:

«Поэзия всегда считалась у нас выражением переживаний одиночек... Немецкая эпиграмма по праву называет лирического поэта и его читателя странной парой, которая „в стране поэтов и мыслителей“ никогда не может найти друг друга... Удивительно, что лирическая поэзия имеет в Советском Союзе другую традицию...»

И, в сущности, каждый из нас своим докладом отвечал на недоуменный вопрос Евы Крамм, на недоуменный вопрос Запада: почему в России поэзия всегда была на переднем крае интеллектуального фронта?

Не сговариваясь, все мы «повели бой» на своей, хорошо знакомой территории — не как литературоведы, а как поэты, с позиции собственного жизненного и профессионального опыта и в меру собственного разумения. «Мы диалектику учили не по Гегелю...»

Так, Юстинас Марцинкявичюс раскрыл тему своего доклада «Национальное в современном мире» на примере судьбы поэта в Литве буржуазной и в Литве социалистической. Естественно, что это был не просто доклад, а живой и уже потому яркий рассказ — рассказ не только поэта и мыслителя, но и очевидца.

Сергею Наровчатову и мне, конечно же, помогла наша «далекая провинция — Война».

Далекая-то она далекая, но здесь, в Западном Берлине, до нее рукой подать. Ловлю себя на том, что, всматриваясь в лица немцев, сидящих в зале, невольно прикидываю, кто из них, судя по возрасту, мог воевать на Восточном фронте?.. И где, интересно, потерял левую руку этот седой благообразный господин?..

Оказалось, что не только одно слово «гражданственность» непереводаемо на немецкий. Непереводимы и «героизм», «романтика», «долг», «честь», «отчизна». Конечно, в отличие от слова «гражданственность», они имеются в словаре. Но после войны, после Гитлера многие западные немцы стесняются произносить эти высокие слова...

Оно и понятно. Есть, мягко выражаясь, некоторая разница в психологии людей, чувствующих ответственность за своих соотечественников, ворвавшихся, как разбойники, в чужую страну, и в психологии людей, защищавших от этих разбойников свою страну, своих жен и детей... Отсюда и разность интонаций.

«Его зарыли в шар земной, а был он лишь солдат», — с торжественной, строгой печалью говорил советский поэт-фронтовик Сергей Орлов.

«Мой папаша замерз под Смоленском», — с горькой иронией пишет молодой западноберлинский поэт Фолькер фон Тёрне.

Я понимала и уважала позицию этого поэта, как понимала и уважала аналогичную позицию других его коллег, позицию, исключаящую всякий намек на какой-либо пафос или патетичность. Но в то же время, конечно, в своем докладе совершенно не собиралась подделываться под их тон. Нам нечего стесняться так называемых «высоких слов», как людям, искренне и глубоко любившим, нечего стесняться слова «люблю».

Мой доклад тоже был признанием в любви, в трудной, выстраданной любви к России, любви, всю силу которой я осознала до конца в трагическое, грозное время — Великую Отечественную войну.

Может быть, слово «гражданственность» переводится на чужой язык и как «любовь к родине»?

«Чувства добрые я лирой пробуждал...»

В школьные годы я была, так сказать, жрицей чистого искусства. Строки Некрасова: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан» — не вызывали у меня никаких особых эмоций.

В восьмом классе я ввергла в панику своего учителя литературы, написав вместо традиционного сочинения «За что я люблю Маяковского» отнюдь не традиционное «За что я не люблю Маяковского». А не любила я его именно за яростную гражданственность, за принципиальную тенденциозность, за демонстративное служение обществу.

В этом ученическом опусе я с великолепным ригоризмом и невежеством отрочества «доказывала», что служение обществу, как и всякое служение, уже само по себе исключает якобы возможность свободного творчества и что вообще не может быть понятия «гражданская поэзия», так как термины «гражданская» и «поэзия» — несовместимы.

Может быть, и не стоило бы останавливаться на этих детских грехах, на этой комической школьной теории «чистого искусства», — не так уж она интересна! — если бы мне не хотелось показать на примере своего поколения, как жизнь входит в поэзию, когда поэты входят в жизнь.

Конечно, из стихов начинающих как ветром выдуло все детскую — ковбойскую и цыганскую — «романтику».

...Запоминал — над деревнями пламя,
И ветер, разносивший жаркий прах,
И девушек, библейскими гвоздями
Распятых на райкомовских дверях...

Это строки из стихотворения Сергея Наровчатова. Гражданские ли это стихи? Конечно! Но они же и стихи сугубо личные, прошедшие сквозь сердце поэта, рожденные в муках и страданиях, — все живое рождено в муках...

Нет, истинный поэт не может быть бездушным, отгороженным от людей и любующимся собой манекеном, эта «красивая», а в общем-то мещанская поза приведет его к поэтической, а то и к политической смерти.

Показательна в этом смысле судьба Зинаиды Гиппиус, некогда известной в России поэтессы, сочинявшей стихи, исполненные ненавистью к человечеству.

Символическое бегство Гиппиус от человечества обернулось отнюдь не символическим бегством из измученной гражданской войной России, а затем — сотрудничеством с фашистами в оккупированном Париже...

А вот другая судьба, судьба современницы Гиппиус — Анны Ахматовой. С каким достоинством, с каким высоким чувством гражданственности отвечала она «голосу», призывающему ее «оставить Россию навсегда»:

...Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.

Как сильна оказалась связь с Родиной, с народом у такой, казалось бы, камерной поэтессы! Трещина, расколовшая мир, прошла и через ее сердце.

Художникам, сердца которых минует эта трещина, художникам, остающимся равнодушными к бурям и катастрофам, потрясающим миры и души, адресовал свои стихи соотечественник наших оппонентов Мартин Опиц — поэт, живший в жестокую эпоху Тридцатилетней войны. Как современно, я бы даже сказала злободневно, звучат эти стихи, написанные более трех веков назад:

...Как смею я, глупец, не замечая зла,
Не видя, что вокруг лишь пепел, кровь и мгла,
Петь песни о любви, о благосклонном взоре,
Изяществе манер, пленительности уст?..
Сколь холоден мой стих! Сколь низок он и пуст,
Для изможденных душ — ненужная обуза!
Так о другом пиши! Пора! А если нет —
Ты — жалкий рифмоплет, ты больше не поэт,
И пусть тебя тогда навек отвергнет муза!

...Никогда не забуду, как один парижский студент на мой вопрос о любимом поэте застенчиво, по секрету признался, что это Жак Превьер, но он

скрывает сей компрометирующий его факт — Провер, видите ли, слишком доходчив, слишком прозрачен, а это теперь «не котируется».

Бедный студент! Здорово застращали его пугалом малоинтеллектуальности! Да если бы только его одного! Сколько бедняг восторгается произведениями того или иного современного автора лишь потому, что они непонятны, — непонятность нынче в моде. Непонятно — значит высокоинтеллектуально. Заумно — значит талантливо. Нельзя же, в самом деле, признаться, что король кажется голым. Это будет обозначать, что ты просто не дорос до понимания современной поэзии — поэзии эпохи распада атомного ядра.

Вот и рождаются на свет литературные чудовища, творцы которых достигли высокого мастерства в деле обезображивания несчастного человеческого языка:

и при этих словах (на первом плане
мир вокруг молчал мир пред ним молчал
чтобы сделать его аморфным
манипулируя мозаикой и
наброском)
красная и плотная (если глядеть снизу)
зрители другого не увидели
в животе наполненного снегом
зажгли все огни.

Пусть читатель не думает, что перед ним — корректорский брак: процитированное выше именуется фрагментом А² из поэмы о «Повисшем камне» итальянского поэта-неоавангардиста Нанни Балестрини.

Воистину бессмертна мудрая сказка о голом короле!..

Я — за сложную поэзию. Но только нужно точно договориться, что подразумевать под этим термином. Я за такую поэзию, когда о сложном говорят просто, а не наоборот — о простом сложно, то есть заумно, темно, игнорируя здравый смысл и грамматику.

Ведь если, расшифровав иной стихотворный ребус, ты, к своему величайшему изумлению, все-таки обнаружишь в нем какой-то смысл, то, как правило, цена его — две копейки. Не из-за чего было огород городить...

А может, и наоборот — автор городил свой «модерный огород» именно для того, чтобы замаскировать ничтожность замысла...

И я откровенно радуюсь, что такому по-настоящему сложному поэту, как Пастернак, принадлежат знаменитые строки: «Нельзя не впасть в конце, как в ересь, в неслыханную простоту» — и люблю стихи из его книги «На ранних поездах», — стихи, которые мудры без мудрствования, прозрачны, как лучшие образцы классической поэзии, и в то же время очень современные. Это та простота, которую может себе позволить только большой поэт, не

боящийся за свою «наготу», не пытающийся прикрыть ее тем или иным фиговым листком.

Говорят, что «человек — это стиль». Манерные, искусственные, претенциозные стихи для меня невыносимы так же, как и манерные, искусственные, претенциозные люди...

И еще хуже, когда эти манерность и претенциозность доходят до своего логического конца — до абсурда, до воинствующей бессмыслицы.

Дело здесь уже не в том, что это кому-то нравится или не нравится, дело в том, что это становится философией, причем и небезобидной. Философия сия заключается в объявлении войны разуму, в бегстве в сумерки подсознания — спасительные сумерки: получаешь право не видеть того, что видеть неприятно, — например, напалмовые бомбы, заживо сжигающие вьетнамских детей...

Это парадоксальная философия, совмещающая в себе, казалось бы, несовместимое: безумие первобытных инстинктов с ледяной расчетливостью Голливуда.

В самом деле: в неоавангардизме главное — возбудить интерес к самой «звезде», любыми средствами создать вокруг нее атмосферу сенсационности, не дать рассеяться угару поклонения. Тогда становится неважным, что выдается «на-гора» — шедевр или бред. И любому издателю лестно заполучить себе заранее «обреченное на успех» имя.

«Обреченность на успех» — страшная штука, страшная как и для самого «обреченного», так и для бедных читателей. Первого она губит как талант, вторых лишает возможности критически мыслить, обрекает на массовый психоз, на удобную привычку не размышлять, принимать как должное любую нелепость, изреченную устами «звезды».

Этот массовый психоз или, как его более деликатно называют, «массовый энтузиазм» несколько смахивает на вопли горожан, восторгающихся новым платьем короля...

Ох уж этот «энтузиазм», ох уж эти «короли» — сказочные ли, не сказочные, литературные ли, не литературные! — история нас учит, к чему все это приводит...

«Да здравствует разум!» — нет, мне не кажется, что это восклицание Пушкина устарело...

Надеюсь, меня не поймут в таком смысле, что я, мол, ратую за холодную, рассудочную поэзию? Упаси господи!

Стихи, идущие только «от головы», стихи, не прошедшие сквозь сердце поэта, стихи, не обладающие еще чем-то таким, чему нет и определения в языке (это «что-то», к сожалению, нередко исчезает при переводе), — на мой взгляд, и не стихи вовсе, а просто-напросто версификация, гомункулусы, созданные в пробирках.

Между прочим, как это ни парадоксально, нарочитая бессмыслица — тоже порождение холодной рассудочности.

Не случайно, раздумывая о неоавангардизме, обозреватель «Таймса» спрашивает: «Не слишком ли много системы в этом „безумии“?»

Справедливости ради надо отметить, что среди «голых королей» только единицы удостоиваются языческих почестей. А чаще бедному «королю» самому приходится скупать свои творения: поскольку восхищение читателя «интеллектуала» — только дань моде, он вовсе не испытывает желания разоряться, приобретая книги своего «кумира»...

Конец ознакомительного фрагмента

Уважаемый читатель!

Размещение полного текста данного произведения невозможно в связи с ограничениями по IV части ГК РФ.

Эту книгу вы можете почитать в
Оренбургской областной универсальной
научной библиотеке им. Н.К. Крупской
по адресу: г. Оренбург, ул. Советская, 20
тел.: для справок: (3532) 77-92-66